

Лит. газета - 1989 - 22 ноября (№ 47) - с. 8.



«...плюс неизвестное»

8-я страница «ЛГ» всегда была нацелена только на проблемы. Это хорошо. Но это и плохо. На страницу редко попадали материалы, как иногда говорят журналисты, «человеческие». Интересный человек (в нашем случае — «человек искусства»), каков он есть или был. Судьба. А ведь про некоторых даже очень известных людей многое до сих пор неизвестно, не написано. Специально для таких случаев мы заводим новую рубрику — «...плюс неизвестное». И открываем ее очерком Станислава Говорухина об актерах, которые работали в кино в трудное для нашей культуры время, разделили вместе с кинематографом все его удачи и грехи, но и в преклонные годы сохранили талант, оригинальность, независимость суждений.

3 А ГЛАЗА мы его звали БФ, лень было выговаривать Борис Федорович. Да он и сам любил сокращения. Николая Афанасьевича Крючкова, например, называл Никафом.

До того как мы с ним встретились, я представлял: простой, простоватый, как те персонажи, которых он играет... грубый, прямой, правду-матку лепит в глаза... все-таки из народа, из самой гущи. (Как потом выяснилось — из Саратова, с Волги. Я тоже вырос на Волге, тут мы с ним сошлись, я ужасно любил слушать о том, как они пацанов ордовали по волжским берегам, как, закопав трусишки в песок, плавали на острова, на плоты, плывущие вниз по течению.)

Потом, когда сошлись довольно близко, многое подтвердилось. Действительно прямой — говорит то, что думает. Грубоватый, я бы сказал, нарочито грубоватый — это немножко насмешка, чтобы не разрушать имидж, созданный у зрителей. Простой. В самом деле, простой, как земля, которая его родила, как народ, из которого он вышел. Но не простоватый, упаси боже! Он был весьма сложным и китро устроенным человеком. Всегда неожиданный — никогда нельзя угадать, что он скажет или ответит. И еще поражала образованность. О чем ни заговоришь, слышал, знает. Хотя в общих чертах, но знает, имеет собственное представление, свое к этому отношение. Любил читать, слушать новых людей. Говорил: «Мало будешь знать, скоро состаришься». И при этом был простодушен, как ребенок. Эта детскость в нем — а когда мы познакомились, ему было пятьдесят два — особенно трогала.

Как-то наш пароход стоял в Ялте. Спустился по трапу на берег, вижу, БФ стоит у борта, сорит в воду шелухой от семечек. В руках целлофановый мешок, он был человеком масштаба. Если семечки — то мешком, чтобы всех угощать, одаривать налево и направо. — Идемте погуляем, — говорю ему. — Нет, — гудит он своим низким басом, — я в этот город ни ногой... — Почему? — подмигиваю, встаю рядом, знаю, что сейчас раскиснет, что-то интересное. Запускаю руку в мешок с семечками. — Понимаешь, снимали мы тут «Илью Муромца». Выпили как-то с одним милиционером. Он мне: «Вот ты здоровый, вон какой... Илья Муромца играешь... А я тебя побью. Давай, борись!» Кто кого в воду скинет, тот и победил... Начали мы возиться. Он верткий оказался, сильный. Все-таки я его сбросил в море. Там глубоко было, еле вытаскивал... — А дальше? — А дальше — фельетон в газете: «Илья Муромец распялся... Управы на этого Андрея нет... Милицию в воду кидает...» Обиняк я на этот город. Ну их всех...

Вон ведь как! И редактора того уж нет, и прыткий журналист в столицу перебрался, а он все помнит обиду и действительно ни ногой в этот город, сколько мы ни стояли в Ялте. Позже, правда, пришлось ступить на вражескую землю. Тут, в Ялте, снималась «Остров сокровищ», и ему досталась роль Сильвера. Роль прекрасная, ему она пришлась очень по душе, но, по моему, не удалось до конца. Сильвер, как его ни рассматривали, все-таки злодей. Но злодейского, злого в Андрееве не было ни капли. И как он ни тыкался, ни делал страшные глаза, все равно не верилось, что вот этот человек на экране способен убить, зарезать мальчишку. У андреевского Сильвера добрый, доверчивый взгляд. Он не страшен. Отсюда — не страшно за молодого героя. Андреевскую натуру спрятать не удалось. Режис-

— Да знаю я, знаю, что у вас и на это разряды есть. Дак по какому? — По первому, конечно. — усмехнулся на другом конце провода. — Это где же? — На Новодевичьем. — Отдайте мое место Петеньке Алеинникову.

И Петра Мартыновича похоронили на Новодевичьем кладбище. Когда же умер сам Борис Федорович, на Новодевичье не пускали уже ни покойников, ни посетителей. Его похоронили на Ваганьковском. Получилось, что он в самом деле отдал свое место на кладбище дорогому другу.

Вот с таким человеком свела меня моя счастливая звезда.

Осенью 1967 года я снимал свою вторую картину. Это была экраниза-

ция небольшого рассказа Бориса Житкова, фильм назывался «День ангела».

Все действие нашей картины разворачивалось на большом пассажирском пароходе, плывущем из Америки в Россию. Нам повезло — удалось заполучить в полное свое распоряжение пассажирский лайнер, бывший флагман Черноморского пароходства «Крым».

«Крым» плавал последние деньки. По Черному морю уже ходили новые, только что спущенные со стапелей суда, и старый, отслуживший положенный срок пароход вскоре должны были распылить и сдать на металлолом. А пока на нем проходили практику курсанты мореходки. Курсантам же все равно было, где практиковаться — в каком порту, на каких пиротах, — и получились, что мы могли командовать пароходом, как хотели. Звонили, например, в Батуми и спрашивали:

— Солнце у вас есть? — Есть, — отвечали веселые хозяева. — Яра, как летом. — Причал дадите? — Для вас, генерала... И наш корабль ложился курсом на юго-восток. Относился к нам в любом порту хорошо. Еще бы, на борту любимые артисты кино: Андреев, Крючков, Переверзев, Петр Соболевский — звезда еще немого кино. Жена Жариков, Наташа Фатеева... Старое название парохода мы закрашили — старинной вязью на черном борту было выведено: ЦЕСАРЕВИЧ.

В раннем утре, когда бы ты ни встал, на палубе можно встретить Никафа. Спит Николай Афанасьевич мало. До поздней ночи сидит в каюте Андреева — там у нас была главная трехквартира, — рассказывает свои байки, ближе к полуночи уже не рассказывает, а только слушает и наконец, когда у него начинают слиться глаза, встает и тихонько пробирается к выходу. Бормочет:

— Не расплескать бы сон по дороге... С первым лучом солнца он уже на ногах, на палубе. Если дело происходит в открытом море, вокруг него матросы. Они его обожают. Особенно любят послушать, как травит Никафа. Травля эта идет весь день, все свободное от съемок время. Рассказывать (по-морскому — травить) Никафа большой мастер. Но рассказы эти

чисто мужские, не для дам. И не для печати, конечно. Если же судно стоит у причала, Никафо ловит рыбу. Более страстного рыбака во всем советском кинематографе нет. Как-то признался мне: — Знаешь, как я теперь сценарий выбираю? Если, например, сценарий начинается так: «По оживленной городской улице...», я говорю себе: «Нет, это мне не подходит». А если сценарий начинается со слов: «На берегу пруда...», я говорю: «О! Это как раз по мне!»

Наловит Никафо рыбы, так надо еще поймать кого-то, чтобы съел ее. К Андрееву с утра не подходит. Мрачен. Стоит у борта, смотрит в море — одолевают мысли о бренности существования. Переверзев еще спит. Сам Никафо ничего не ест — все время жалуется на желудок. Стоит Никафо у дверей своей каютки, где у него в углу на плитке что-то скворчит, ворочается, дышит, и ловит едока. Поймал меня, тянет за руку:

— Ты только попробуй, ты ж такой рыбы никогда не ел. Я ее в сметане с лучком потушил. Ну... Готовит Никафо действительно — язык проглотил. Но на судне кормят четыре раза в день, а Никафо — рыбак неутомимый, всю выловленную им рыбу всем парходом не съест...

Ах, как мы жили тогда! Другой такой экспедиции уж точно никогда не будет. И какие же мы были дураки, что не записывали за Андреевым! Мы с Костей Ершовым, киевским актером и режиссером, уже тогда понимали, что совершаем преступление, допуская улетать по ветру замечательным мыслям и прекрасным островам. Впрочем, Костя что-то там паравал в записной книжке. Но Костя умер. А я ленился. Все казалось, что жизнь вечна, — Андреев вечен, и что не с одним еще таким Андреевым сведет судьба. А сейчас выяснилось, что интересных-то людей, по-настоящему интересных, таких, как Андреев или, скажем, Высочный, которые встретились на твоём пути, по пальцам можно пересчитать. Одной руки, пожалуй, хватит.

И вот теперь многое, очень многое, почти все забылось.

Говорил Андреев мало. Но если уж он что-то произносил, то это бывало услышано всеми. И не потому, что громко. Говорил он действительно громко — тяжелым, роковым басом. А потому, что весомо. Пустых слов не произносил. И длинных периодов не переносил. Выражал свою мысль в самой лаконичной форме. И вообще был склонен к афористическому мышлению. Но об этом я расскажу отдельно.

В нашем фильме Андреев исполнил роль купца Грызлова. Одного из пассажиров парохода «Цесаревич». В сценарии роль была прописана плохо. Русский купец, эдакая широкая душа — истерный, как рубль, образ. Вообще говоря, этой роли в сценарии могло и не быть, сюжет от этого много не потерял бы. Андреева в эти годы снимали мало, поэтому он согласился, поставив режиссеру, то есть мне, условие: роль по ходу работы надо будет переделывать.

В итоге он не оставил ни одной реплики, написанной сценаристом.

Да не мог так русский человек выразиться, — говорил он мне. — Слишком интеллигентно, уныло... Он же из народа, Грызлов твой, с Волги. И я с Волги. Давай я так скажу...

Придумывал он мастерски. Реплики были остроумные и всегда очень неожиданные.

Вот во время одного из дублей маленькая обезьянка прыгает с плеча дамы из массовки и вбегает по трапу на крыло капитанского мостика. Андреев тут же кидает:

Видите, сударыня, в наше время каждая мартишка к рулю управления лезет.

Правда, потом эта реплика очень не понравилась редактору. Пришлось ее вырезать.

Я с ним боролся за каждую сценарную реплику — предчувствовал, что возникнут неприятности со сценаристом. Сценарист-то был маститый. Но он так и не произнес ни одной.

— Ну ты пойми, — убеждал он меня, — не будет он себя так вести, Грызлов-то наш. Он человек масштаба! Он ведь не только о себе, он и о мироздании думает. Для него есть Бог и есть людишки. Шторм, пожар, людишки кричат, волнуются, кто бахлах спасает, кто шкуру свою поганую, а он молчит, смотрит и презирает всех. Он даже себе такую присказку придумал — вроде как бы жизненное кредо. Вот послушай, какой стихок наш Грызлов сочинил:

Безумно море, дни безумны... Всегда спокойны люди умны.

Вот именно так: не «умные», что было бы гораздо грамотней (что бы, казалось, стоило зарифмовать «умные — безумные»), а «умны». В таком повороте и юмора больше, и авторство купца больше угадывается.

Короче, посмотрел М. Блейман (а он и был автором экранизации) наш фильм, где все до точки было сделано

по сценарию, кроме андреевской роли, и... снял свою фамилию с титров. Обиделся.

Конечно, если судить строго, от андреевского вмешательства роль абсолютно хорошей не стала — для этого в изначальной драматургии не было никаких предпосылок. Но она стала яркой, полнокровной и уж отнюдь не банальной, тут что ни слово, что ни жест — новы и достаточно оригинальны. Небось, сделай то же самое с этой ролью Качалов, сценарист бы смолчал, а то и пародовался. Но тут... Как? Какой-то Андреев... лапоть деревенский... с его, небось, тремя классами образования!..

К нему многие так относились. А он был, повторяю, широко и глубоко образованным и по-настоящему, без «штучного» интеллигентным человеком.

Как-то я попросил его представить мою картину «Робинзон Крузо» на премьере в Доме кино. Он стал отнекиваться:

— Не люблю я эту публику. Не поймут они меня. — Помолчал, добавил: — И я их никогда не пойму.

Он оказался прав. Говорил он, как всегда, с блеском — образно, художественно, чуть-чуть, но быть, литературно, с философскими, собственными ему обобщениями. Слушали его невинительно и снисходительно, что, на мой взгляд, хуже, чем если бы не слушали вовсе. «А-а, Андреев...» — читалось в глазах. — Вчерашний день... Как-то незаметно для Бориса Федоровича — а разве можно это заметить? — кинематограф наполнился людьми новыми, натурами «тонко организованными», для которых Андреев был не то чтобы анахронизм, а как бы человек не их круга.

Мне вот пришлось в голову такое сравнение.

В те шестидесятые годы высотные здания, построенные на занате сталинской эпохи, воспринимались как беззастенчивые, даже хулиганские пятиэтажки, смотрелась элгантнее. Что уж говорить о многоэтажных коробках Нового Арбата — в глазах некоторой части публики они были пределом изощренности. Но прошлые годы, и все встало на свои места. Сегодня московский пейзаж немилым без «высоток». И чем больше выросло вокруг них всякого дерьма, тем очевиднее становилась их целесообразность, тем более разрастался их комплекс добротности, надежности, ясности архитектурной мысли.

Мне кажется, Андреев был таким несколько неумным, но основательным высотным зданием среди модных железобетонных стандартных коробок.

Так что не было у Блеймана оснований обижаться на Андреева, тем более что Андреев обладал уникальным литературным даром. Жаль, что дар этот проявился так поздно. Впрочем, раньше он и не мог обнаружиться. Жанр, в котором он к концу жизни стал пробовать себя, требовал большого жизненного опыта, глубокого, философского осмысления жизни.

Как-то я звоню ему.

— Принежай, — говорит, — хочу тебе кое-что почитать.

Я уж собрался было ехать, но тут вспомнил: Володя Высочный просил познакомиться. Я ему про Андреева рассказывал много. Володя смеялся — нравился ему Андреев в моих рассказах. Позвонил я Высочному, говорю: «Еду к Андрееву, хочешь, поеду вместе?»

Думаю, дай перезвоню БФ, предупрежу, что буду не один. В ответ услышал совершенно неожиданное:

— Да ну его... к бабушке!

— Почему??

— Да, знаешь... Он, наверное, пьет...

Я стал стыдить его: «Давно ли сам стал трезвенником?»

Потом только понял, что он просто стеснялся нового человека, да еще знаменитого поэта. В этот день он собрался открыть мне свою тайну.

Наконец БФ пробурчал что-то вроде согласия.

Принежал мы на Большую Бронную, где БФ жил последние свои годы. Володе, чтобы поговорить с человеком, много времени не надо было. Через пять минут они влюбились друг в друга, через десять — перестали меня замечать: так много оказалось в них нужного сказать друг другу. Короче, Андреев перестал стесняться Высочного, повел нас на кухню, заварил чай в большой эмалированной кружке — она с ним была во всех его походах — и достал толстую, как Библия, кожаную тетрадь:

— Эту тетрадь подарил мне мой друг, цирковой артист... Сказал: Борка, ты у нас человек остроумный, напиши в ней что-нибудь смешное. И я решил написать... афористический роман.

Мы с Володей переглянулись. Афористический роман! Роман из одних афоризмов. Жанр под силу лишь древним. А ну как будет не смешно? Обидится автор...

— Лев открыл пасть, — начал читать Андреев, — укротитель заснул в нее голову, и все зрители вдруг увидели, насколько дикое животное умнее и великодушнее человека.

Мы с Володей аж взвизгнули от смеха. Андреев благодарно покосился на нас, прочел следующую фразу: — Древние греки никогда и не думали, что они будут древними греками.

Читал он, не педалируя ни на одно слово, ровно, даже скучно — словно выполнял неприятную обязанность.

— Разливая пол-литра на троих, дядя Вася невольно вынужден был излучить дробь.

Через несколько минут мы уже не смеялись, а только стонали да корчили от душивших нас спазм.

— Вы, ребята, особенно не распространяйтесь, — сказал растроганный нашей реакцией БФ. — Шутка, острота, она, знаете, как... пошла гулять, и уже хрен докажешь, что это ты придумал...

Мы так и поступили — не распространялись, не запомнили, не записали. Потом я клял себя за глупое благородство — иногда на встречах со зрителями, рассказывая о том, каким БФ был удивительным человеком, хотелось процитировать его остроты, да они забылись.

Но, слава богу, не пропали. Я пришел к Андрееву-младшему, сыну Бориса Федоровича, он показал мне десятки записных книжек, заполненных афоризмами. — Последние годы он полностью посвятил себя этому увлечению. Показал мне Андреев-младший и ту кожаную тетрадь, с которой все началось. Я полистал ее — что же он там тогда читал? Может быть, это: «Я гулял по зоопарку, и животные нехотя разглядывали меня».

Или вот это:

«Корабль скрылся за горизонтом, а я стоял на берегу, все еще не в силах покинуть его палубу».

Это, ко всему прочему, и очень андреевские фразы. Сразу встает за ним живой Борис Федорович — да, он сумел взглянуть на мир в совершенно неожиданном ракурсе:

«Настало время засолки огурцов, и Диогена стали выводить из бочки». «Бродяга Байкал переахал» — отчаянейшее историческое событие, послужившее причиной радостного застоя для множества поколений русского народа».

«Мозговые извилины созданы для того, чтобы мысль не проскакивала по прямой».

А вот знакомые персонажи — БФ их презирал всей душой и определял кратко и образно:

«Подлец с программным управлением».

«Душа, оскудевшая в персональных условиях».

«Великий страдал отложением солей своего величия».

«Он страдал умно и расчетливо».

«Ужасный зубом мудрости».

Какая бездна юмора была в этом человеке! «Мир без шуток и фантазии — да разве это мир?» — говорил он.

«Попавай на крючок, не потешай рыбаков плясками».

«Пегасы сначала брыкались, но вскоре привыкли к силосу и вот теперь уже стали воспевать его».

«В отличие от тыквы голова человека в потемках не дозревает».

Как не похожи его философские формулы на те несносные нравоучения, которые, по выражению Марии Твена, помахивают своим закрученным хвостиком в конце каждого произведений!

«Природа покрывается порой ядовитыми пятнами отращения к нам».

«Талант без мужества — высшее горе художника».

«Творческих мук нет. Есть муки инстинктивного творчества».

Афоризмы Бориса Андреева, его тайна, пока еще не открытая широкому читателю, — главное дело его жизни. Дело это оборвалось в самом начале. Но и того, что удалось, — много, очень много. Когда-нибудь эти афоризмы будут изданы отдельной книжкой с иллюстрациями отличного художника. Вы спросите: почему не сейчас? Не знаю. Мы многого не понимаем из того, что у нас происходит. Возможно, кому-то сочные, полные жизненной силы афоризмы Андреева покажутся не очень «изящными», а то и обидными».

Тем не менее — я в этом глубоко убежден — это большое событие в нашей литературе.

Смерть Андреева прошла незаметно для нашего искусства.

Газеты я тогда не читал (это был 1982 год, еще при жизни маршала Брежнева), противно было тогда открывать газету. И вот спустя месяц в случайном разговоре узнаю: Андреев умер. Вскоре ушла за ним и его жена — очаровательная, жизнерадостная Галина Васильевна. Помню, как он рассказывал, как познакомился с ней:

— Едем мы с Петенькой Алеинниковым в троллейбусе. Не помню уж, о чем зашел разговор, только он мне говорит: «Ну кто за тебя, лаптя деревенского, пойдет? Посмотри на себя...» А я ему: «Вот назло тебе женюсь. Завтра же женись». — «Это на ком же?» — «А вот первая девушка, которая войдет в троллейбус, будет моей женой». — «Ха-ха!» Остановка. Входит компания — ребята и девушки, все с коньками. Одна мне приглянулась — чернوبرовая, кровь с молоком... Кое-как познакомился, давлялся провожать. А отец у нее оказался — комиссар. Комиссар милиции. Как узнал: «Кто? Андреев? Этот пропойца? Да никогда в жизни!»

И в этом ребяческом поступке — весь Андреев.

Они с Галиной Васильевной жили счастливо и умерли почти в один день.